
Алексей КОЛЕСНИКОВ

РАССКАЗЫ

ДЕЗЕРТИР

И все бы хорошо, да что-то нехорошо.

А. Гайдар

Правда, что юноши стали дешевле?

Дешевле земли, бочки воды и телеги углей?

В. Хлебников

С чего бы начать?

Несмотря на то, что мы прожили с Мишей в одной квартире лет пять, я так и не понял, на кого он учился в университете. Что-то, кажется, связанное с продажами. На занятия он практически не ходил, но экзамены при этом сдавал успешно. Образование Мише оплачивала мама. Он называл ее не иначе как Святая. «Моя Святая».

В июле 2020 года мы отметили наши выпускные, состоявшиеся с разницей в два дня: жареная картошка, бычки в томате, деревенские (от Святой) помидоры, белый хлеб и водка. Стол установили посреди команды, как гроб. Пел Летов, отпевая нашу юность, и, как свечки, тлели в мутной банке окурки. Из-под шва горизонта еще пекло солнце. Вертел головой деловой вентилятор, неумоимо осматривая углы нашей скромной квартирki. Мы ухмылялись друг другу: художник и поэт. Как всегда, под бутылку говорили об искусстве. Искали актуальный метод. Как из *ничего* создать *не-что*, что будет обладать признаками живого, а особо наивные люди и вовсе будут думать: живое и есть.

Миша тогда только начал писать картины, а я сочинял стихи. Думали — главное метод. Что писать, понятно, но вот как? Великая мука! Если Бог наградил человека даром творчества, то сатана поставил вопрос о форме.

Когда июльский зной сменился июльской вечерней прохладой и почернело за окном, мы пошли гулять. Обыкновенное для нас продолжение вечера. Кажется, мы обошли целый город, глотая пиво. Соревновались в подборе приятных тем, вели богемные разговоры, вспоминали удачи и несчастья, устало молчали. В общем, были свободны и непобедимы.

За полночь в киоске у спящего городского рынка приобрели одну на двоих булочку с маком (похожа на снаряд) и отправились спать. Миша, как и всегда, мгновенно уснул, а я все лежал и думал об одной девушке, которую чудовищно обидел. Она оказалась глупой, но воинственной, и, значит, подделом ей. Ее оглушительное предложение жить вместе, как бы последовательное и логичное, на деле никак не соотносилось с моим

Алексей Юрьевич Колесников родился в 1993 году в п. Ракитное Белгородской области. Образование высшее юридическое. Публиковался в журналах «Новый берег», «Вопросы литературы». Живет в Белгороде.

проклятым материальным положением. Попытка это объяснить предпринималась, но мысль не прошла — черезчур абстрактная. Тогда я поступил конкретно: увел на шашлыках поглубже в лес обезжиренную, смешливую, смуглую, одетую, как шлюха на конкурсе шлюх, одnogруппницу, о чем признался немедленно утром. Рвать так рвать — до крови.

Миша лежал на своем полосатом матрасе у дальней стенки, храпел и не реагировал на комаров. А они, ненасытные твари, становились все бесстрашнее с каждым часом. Потая и нервничая, я мямля одеяло, как тесто. Только с первыми тенями рассвета я смог уснуть, поэтому и проспал почти до обеда.

Был выходной день, и на работу (подработка *никем*) идти не требовалось. Тем более я планировал бросить эту халтуру и подыскать что-то более основательное (пять через два по восемь часов, например). Надеялся на диплом.

Проснувшись, я обнаружил Мишу на кухне (понурую фигуру Миши). Он пил коньяк, закусывая сыром и сливами. Бутылка уже заканчивалась, когда я, почесываясь, явился на кухню. У плиты, прислоненный к спинке стула (второго в нашем хозяйстве), сох свежезагрунтованный холст.

Миша сразу все объяснил:

— Святая моя денег прислала. И весть: из военкомата звонили. Ждут меня осенью. Бреют в солдаты. Швырнут в топку очередной империалистической войны.

— Войны? Где война? — спросил я.

— Будет. Капитализм уже породил все необходимые для громадной бойни противоречия. Скоро полетят самолеты, посыплются бомбы на города. Солдат пойдет на солдата, а танк на танк. Капиталу требуются мертвецы и убийцы, и то буду я. — Произнеся все это, Миша развел в стороны руки: — На крест меня! На крест! Принесите крест, пожалуйста, но не учите меня стрелять!

Сквозь похмельный морок я подумал: ведь он действительно похож на Него, только пожившего и потрепанного. Курчавые волосы до плеч, островками борода, нежные тонкие руки, кроткий взгляд. Только белый живот исколот татуировками, только кольцами пробиты соски и бесцветные рыбьи глаза не моргают, как сваренные. Он воду превращает в водку и проповедует марксизм (коммунизм? большевизм? сталинизм? социализм? ленинизм? не разобраться). Миша заметил, что я люблюсь им, и галантно, точно перед камерой, закурил. Дым рывками поплыл по квартире.

— А плана на этот случай разве не существовало? — поинтересовался я.

Увы! Мои родители (тоже святые) подсустились и купили мне плоскостопие еще год назад, а вот Мишина заступница оплошала. Понадеялась на авось, недоглядела.

— Ты наверняка чем-то болеешь, — предположил я, пытаясь утешить друга.

— Если бы! Я болен лишь мечтой о революции. Теперь меня спасет только она, родимая. Хотя заслуживаю ли я? Вон даже тебя сагитировать не сумел. Юрочка, какое твое отношение к войне? К родине? Материалистическое, то есть классовое, или как у большинства — идеалистическое: «березки и все такое»? А? Отвечай.

Как революция может спасти от военкомата — я не понимал. В войну категорически не верил. На Мишину агитацию (даже в такую минуту) реагировать не собирался. Я думал, подбирая варианты.

— А как твой товарищ Ленин решил вопрос с призывом? — спросил я наконец.

Миша задумался. Удушив сигарету, он полез в Интернет.

С изяществом крошечного вертолета на вчерашнюю немытую посуду опустилась жирная муха. Солнце, наступая на нашу бесшторную квартиру, будто исполнив команду «пли!», садануло мне в голову длинным лучом. Я махнул горячего, закурил и подумал, что в одиночку съем квартиры не потяну. А больше на этом свете (оказалось) друзей у меня нет.

— Что планируешь изобразить? — поинтересовался я, кивнув на холст. — Горящий танк?

— Дезертира, — ответил Миша.

И через неделю наша единственная в квартире стенка, не занятая картинами, укрылась полотном цвета хаки.

Кривоногий, криворукий, кривоносый, сгорбленный, косой солдат в драном бушлате без погон мочился сиреновой жидкостью на куст цветущей сирени. Грязным ногтем указательного пальца (свободной руки) он скреб седую бороденку. Запечатленный в такой позе, он казался невероятно печальным.

— «Дезертир», — представил новое полотно Миша. — Мой идеал. Лучшая работа. Продам не меньше чем за косарь. Поспрашивай там, может, кто заинтересуется.

Потом знакомые (какое-то наше невнятное окружение), забредавшие порою к нам, фоткали полотна и кивали, разинув рты. Среди них я присматривал себе нового сожителя, но как-то никто не подходил: все невероятным образом казались пристроенными. Одни мы с Мишей бродяжничали. Бедность, будь ты проклята!

«Дезертир», как и прочие картины, спросом не пользовался. Но он («Дезертир»), действительно отличался. В выупленных глазах солдата угадывались обреченность и загнанность; усталость от собственной участи. Эта картина хоть и выделялась среди прочих написанных, но быть проданной она не могла — я это сразу понял. Босхианские Мишины уродцы, которые таращились выпученными глазами со стен каждой комнаты, окруженные тем или иным кислотным фоном, не могли существовать отдельно от нашей квартиры, с ее минималистичным интерьером и унылой атмосферой. Им суждено было родиться и остаться жить в мастерской, как если бы дети продолжали жить до старости в роддомах.

Мне трудно ответить на вопрос, имели ли Мишины картины какую-либо художественную ценность. В изобразительном искусстве я дилетант. Однако с уверенностью заявляю, что Миша имел талант и обладал самобытностью. В его работах присутствовала придумка и личный взгляд. Картины Миши мог нарисовать только Миша, а это дорогого стоит. Петь своим голосом — это дар.

— Так как Ленин от призыва закосил? — переспросил я как-то Мишу. Мы мыли нашу квартирку. Помнится, я собирал пыль со стен драной футболкой и уперся взглядом во взгляд Ильича. Его классический портрет висел у нас над обеденным столом, напротив окна без штор. «Пусть товарищ Ленин хоть через окошко смотрит, что там, в капитализме проклятом, творится», — шутил Миша. Чтобы как-то уравновесить Ленина и не поддаться его влиянию, я поместил рядом портрет Толстого, а потом еще Маяковского и Блока для верности.

— Он же из дворян, — ответил Миша. — И судимость имелась. За подрывную активность, кстати, — добавил он и улыбнулся по-волчьи.

Чем скорее наступала осень, тем печальнее становился Миша: сох и облетал. Мы не знали, что делать. На пару дней он съездил к отцу, с которым поддерживал поверхностные отношения. Отец бросил Мишину Святую лет пятнадцать назад. Денег никогда не перечислял, в воспитании сына участия не принимал, но зачем-то каждый год поздравлял его с днем рождения.

Миша вдруг потянулся к отцу в восемнадцать лет. Стал ездить, разговаривать. Это был одинокий мужик, простой и сентиментальный. Естественно, выпивающий. Он сказал Мише, что все уклонисты трусы, что родина на то и родина, чтобы ей отдать долг, что год — это не потеря времени, а приобретение бесценного опыта, что каждый мужик обязан уметь стрелять. Высказал какие-то замечания про Мишину прическу и татуировки; про кольца в ушах. Миша твердил отцу, что его левые взгляды противоречат защите буржуазного правительства, что у капиталистов нет родины, а по-

тому и армию свою они предадут; что любой солдат для них такой же товар, как машины, цепи, вина и шлюхи, которых они продают, покупают, и заново, заново, заново. Признавался, что никогда в жизни он не хотел бы стрелять в человека и даже бить его. И любой приказ — насилие. Отец Мишу не понимал, рассуждал про землю, историю, убеждал, что армия позволит страну посмотреть. А когда узнал, что сын не имеет телевизора, то вовсе развел руками, обвинил его в чудовищной неинформированности и прекратил разговор. Утром Миша вернулся на квартиру нервный, возбужденный, громкий. Он шагал от холодильника «Орск» до полки с книгами, курил и пересказывал мне разговор. Я жалел Мишу, потому что в слабой позиции находился именно он. Оборонялся.

Аспирантура была моим элегантным решением, пришедшим в голову перед сном, у края бодрости. Как я радовался этой своей придумке! Как любил ее! Миша, помнится, тоже приободрился, расцвел. Немедленно он скачал себе учебники и стал готовиться. Даже завел, быть может, первую со школьных времен тетрадку, куда плохо выработанным почерком вносил какие-то записи. За месяц он изучил практически все, что должен знать студент с его факультета. Полученные знания углубили критическое Мишино отношение к капитализму и служению ему. Чем больше знаний о системе, тем слабее ее стены, тем больше трещин в оконных рамах.

Миша очень рассчитывал поступить в аспирантуру и даже окончить ее как раз на границе призывного возраста. Это решение действительно было изящным. И потому так горько от провала этого проекта!

Что ничего не получится, стало ясно в тот день, когда Миша вернулся с собеседования, которое проходило в старом корпусе университета на улице Студенческой. Переодеваясь в рабочую одежду и намереваясь немедленно убежать (подрабатывал в кафе, продавал какие-то булки), он мне наскоро доложил обстановку. Был бодр и как-то, несмотря на скверные новости, радостно взвинчен.

— На все вопросы я ответил. Ответил достойно. Совесть моя чиста. Но не берут, Юрочка, с такой мордой, как моя, в аспирантуру, точно тебе говорю! В комиссии сидели две бессмысленные жабы с моей кафедры и старый, уже глубоко во сне, профессор. Он молчал и улыбался, как под наркотой. Еще посматривал на свои дорогие часики иногда. Жабы задавали поверхностные вопросы. Какую-то чепуху. Ясно, что сами материалом не владеют. Одна воду сильно пила, наверное, бодун. Пока я вещал — они в телефонах рылись и кивали. Одна вообще в какой-то момент вышла позвонить.

— Так это же хорошо, — возразил я. — Слушали невнимательно — значит, будут судить по общему впечатлению. Впечатление ты оставил приятное?

— А то! Шутканул даже, а они похихикали, как гиены.

— Ну вот!

— Что, Юрочка, «вот»? Имеется всего лишь два бюджетных места, а нас, абитуриентов, семеро. Первое место по квоте уйдет иностранцу-инвалиду, имеющему третье место за участие в проекте «Лидер отечества». Он два слова сказал, а профессор сразу проснулся и галочку себе в тетрадке мальнул. Я видел.

— А второе?

— А второе, гарантирую тебе, получит Дашка с кафедры. Она там работает у них два года. Секретарем или кем-то. Своя. Пары за них ведет и планирование составляет. Отвечала, как задержавшаяся в развитии: му-хрю. А профессор опять проснулся и опять мальнул. И оскалился еще, как волк.

— Да брось ты! — не поверил я.

— А Дашка дотошная. За это и ценят.

Я вскипел почему-то и стал на Мишу практически рычать:

— Да что ты с агитацией своей ко мне прицепился!? Ты можешь спокойно разговаривать или нет? Плевать мне на политику! Это мир фантазий — твой марксизм. Герме-

тичный титановый шарик, о содержании которого полно диких мифов. И потому полно, что никто не видел, что там внутри. И политика твоя — это лишь тема для журналистов. Чтобы было чем голову людям забивать и себя кормить. Набор условностей и все. Ты думаешь, я не пытался чувствовать хоть какой-то азарт? Хоть что-то понять? Бесполезно! Все одинаковое! Изучать политику — это как изучать песок в пустыне. А говорить о ней — это как этот самый песок жрать!

Миша не выносил критику. Как и всегда (замкнулся), он немедленно сунул ноги в кеды и, не прощаясь, ушел на работу.

Мне не хотелось верить, что моя идея провалена, но призывник казался убедительным. Говорил как о решенном деле, оконченном.

Я, кстати говоря, тоже переменял работу. И хоть вновь работал *никем*, но зато теперь за чуть большую зарплату. Может, потому я подумал в тот вечер, что Миша заслуживает свою участь и что нужно быть активнее, проворнее, больше требовать от себя, вертеться. А не сидеть у родителей на шее и ждать коммунизм. Сам виноват.

Вместе с тем я ощутил ноющую боль, досаду. Чувство несправедливости было тому виной. Непобедимое чувство.

Меланхоличный вечер. Серые тучи, как воспаленные почки, облегчились мелким дождем. Дышать было легче, но угнетала тоска.

Машины под окнами скользят, как водомерки, откуда-то доносится музыка, пахнет пивом из пивной под домом, слышны крики поссорившихся ее посетителей. Полоса заката на серой панельке. Драка, крик и смех. Опять тишина. Смеются девушки. На исходе мое двадцать второе лето. Кто-то едет на море, а я нет. Мама жалуется на боли в боку. Мой торс утратил упругость. Несколько месяцев его не обвивают женские ноги. Стихи мои никому не нужны. Отчего у меня, неглупого и открытого, практически нет друзей? И Миша вот-вот, уже осенью, в мое любимое время года, уедет в армию, где будет носить тяжелое и исполнять нелепое. А я останусь один. Буду всю зарплату отдавать за это унылое место, где ем и сплю. (Куриный суп без зелени, экономичный.) Мишу убьют на войне самым первым. Нелепого, доброго, чуткого. Война состоится, раз его марксисты настаивают. Догорает август, оголяя парки города. Вспыхивают кустики, травка — все горит. Каким медовым все-таки было детство. Кто его отнял у меня?

Через неделю объявили результаты. По баллам Миша занял третье место. «Почетное», как он тогда пошутил.

Там, где я работал *никем*, был юрист Алексей. Лысый, полноватый парень, сторонящийся общих разговоров, очень искренний наедине, тихий. Часто его веки краснели, а пот отдавал спиртом. Почему-то он мне показался «своим», хотя Миша и твердил мне беспрестанно, что «свои» — понятие классовое. Он (Миша — молодой агитатор) даже заставил меня прочесть «Государство и революцию» Ленина, но я совершенно ничего не понял и большую часть пролистал. Ахинея какая-то.

Как-то я позвал Алексея выпить пива после работы в бар, где трудился мой одноклассник. Нам предоставили скидку до десяти часов, пока не приехал хозяин бара.

Я рассказал Алексею о нашей проблеме и попросил помочь словом или делом. К моему удивлению, Алексей сказал, что нужно читать.

— Юрист не имеет готовых ответов, но знает, где почитать.

Очень странная профессия, получается.

— А чего просто не заплатить? — поинтересовался он.

— Нечем, — ответил я, отвинчивая голову сушеному лещу.

— Я почитаю и, может быть, что-то найду. Но скорее всего, придется платить.

— Понял. А у тебя что с жильем? Снимаешь?

— Ипотека. Когда выплачу — будет сорок восемь лет. Но попытаюсь быстрее.

Представить Алексея в этом возрасте я не смог.

— А, — сочувственно протянул я. — Если Мишу в армию заберут, то мне придется самому платить за квартиру, а это почти вся зарплата.

— Заплатит твой Миша, и никто его никуда не заберет.

— Нечем, — повторил я.

Интересно было с ним тем вечером в баре. Очень сосредоточенный человек. Мне не верилось, что он старше меня всего-то на пару лет. Я решил, что мало читаю. И вообще, поверхностно отношусь к жизни. Я даже признался в этом Алексею, когда мы курили у бара, но он лишь махнул рукой и посуровел, как больной, которому напомнили о диагнозе.

— Ничем порадовать не могу, — начал Алексей утром. — Вариантов маловато. Самый дешевый: проходите полное медицинское обследование и ищите хоть какую-нибудь болезнь из списка. — Он протянул несколько листов с табличкой. — Если болезни нет, то платите врачу из призывной комиссии, и она появится.

— Нечем платить, — напомнил я.

— Еще вариант, — продолжал консультацию Алексей. — Альтернативная служба: религиозные или политические убеждения.

— О! — обрадовался я. — Убеждения есть. Он марксист. Или коммунист. Или большевик. Левый, в общем. Они ж против любой войны, кроме классовой.

— Так лучше не говорить. Это экстремизм. Но неважно, — махнул он рукой. — Государству все равно в данном случае: марксист он, фашист, монархист — кто угодно. Главное, чтобы пацифист. Но я бы советовал сослаться на религиозные убеждения, и точка. Так будет понятнее. Не может он воевать и хоть режь его. Автомат в руки берет, а тот выпадает. Это наиболее приемлемый вариант. Будет спокойно проходить альтернативную службу. Здесь, в городе, если договоритесь. Плохо, что два года, а не год, и, скорее всего, не в самой приятной организации, но тут каждый сам выбирает.

— Зарплата будет?

— А как же. МРОТ, — ответил Алексей и добавил сдавленно: — Ох и подташнивает мне. Может, пивка на обеде дернем? За нашу свободу, а? И в честь нее? — почесав крупный нос, он добавил: — Есть еще вариант. Элегантный.

— Так-так, — всполошился я.

— Выборы сейчас в муниципалитет идут. Пусть попробует избраться. Депутатам, даже муниципальным, дают отсрочку. Он где прописан? В селе где-нибудь?

— В районе. Шестьдесят километров от города. У самой границы.

— Отлично! Сначала подписи пусть соберет. Не округляй глаза! Там мало нужно, человек тридцать. Муниципалитет же поселковый. А потом необходимо, чтобы человек пятьдесят за него голоса отдали. И все! В такие муниципалитеты обычно избираются два-три депутата, и они никому не нужны. Пролезет бочком твой друг наверняка. Там всегда кандидаты марионеточные. Какие-нибудь библиотекари или еще кто-то. Их нагоняют для количества. Депутатами, обычно становятся партийцы и кто-нибудь их местного бизнеса. А сейчас времена тяжелые. Чума еще эта непонятная... Народ осторожен и зол. В общем, случайный человек может проскочить. Попробуйте. Главное, пусть про марксизм свой молчит. Нужно обещать, что колодцы установит, что детские площадки будет у района выбивать, ну, и что пенсии повысят.

— Разве пенсии от мундепов зависят?

— Нет, конечно, но пусть обещает. И еще желательно похвастаться, что гуманитарную помощь нуждающимся оказывал. Никто же не проверит.

— Ну, это понятно.

— А вернее, — рассуждал далее Алексей, — пусть в партии, с кем нужно, переговорит, заплатит, сколько скажут, и тогда точно изберется. Там, думаю, ценник небольшой. Ты думаешь, мундепом быть весело и приятно? Ничего подобного. Лишние хлопоты. Пусть заплатит. Дешевле будет, чем военному.

— Нечем платить, — напомнил я.

Вечером, уже несколько прохладным и слишком рано наступившим, я обнаружил Мишу совершенно пьяным в темноте нашей квартиры. В самом ее жалком углу. По полу были разбросаны, как тела от взрыва, вещи: свитер, рубашка, футболка, пальто. Виднелись пятна краски. Видимо, Миша эксплуатировал такой мертвый метод, как абстракция, а вещи разбросал потому, что имел привычку делать сигаретную заначку в недрах шкафа. Призывник был практически невменяем. Слабой рукой он пытался собрать в гульку волосы. На полу блестела тарелка с нашим аварийным запасом пищи.

Потребовав сосредоточения, я объявил:

— Вводная такая: нужно поучаствовать в выборах! Слышишь?

Непослушным языком, сквозь тяжелые губы, он начал молоть, что прогрессивный коммунист тем и отличается от официальных из телевизора, что буржуазные выборы не приветствует.

— Пойти на избирательный участок и отдать свой голос, — медленно, но громко выговорил Миша, — это значит ле-ги-ти-ми-зи-ро-вать их. Хрен им! Знаю я логику эту. Главное — явка. Чтобы замученного пролетария... у него чтобы возникла иллюзия, что его положение законно. Что оно само так вышло. Что он его себе выбрал.

Переводя дух после такой сложной тирады, Миша глотнул чего-то из кружки и с самым философским видом произнес:

— Что такое снос избирательного участка по сравнению с приходом на избирательный участок? А?

Он посмотрел на меня с такой гордостью, произнеся это, что я мгновенно вскипел.

— Слушай, авангард алкореволюции, — сказал я как можно спокойнее. — Поучаствовать нужно пассивно, а не активно, понимаешь? Тебя, а не ты.

В общем, как мог, я объяснил все, что понял сам. Миша смущенно слушал, рассматривая меня, бесцветными, еще более вылупленными глазами.

— Ерунда какая-то, — прокомментировал он наконец. И так серьезно, что я и сам подумал: «А ведь действительно ерунда».

Схватив гитару, он бодро заиграл, а потом запел:

Мне бы завтра война,
Мне бы завтра осада,
Пусть ржавеет трава
И пусть сохнет рассада...
Если завтра война,
То ты будешь со мной.

Я рано лег спать в тот вечер, а Миша все сидел в своем углу. Я чувствовал его обреченность и, конечно, жалел его.

Утром, к моему изумлению, едва дождавшись, пока я раскрою глаза, он объявил:

— Поеду... Да, поеду, поеду в поселок. Да. Использую это мероприятие если не ради спасения года моей единственной жизни (а может, и всей), не ради одного скафандра своего, а ради агитации. Да, как учили товарищи Ленин и Маяковский.

Моя попытка объяснить, что агитация в данном случае вредна, не увенчалась успехом. Естественно, Миша сбегал за коньячком (оказывается, он уволился и получил расчетные), нарезал яблок и предложил тост:

— За красную, прекрасную, свободную, отдельно взятую Платоновку! Ура, товарищи! — Кружка взмыла к потолку.

— Ура, — прошептал я, но не стал пить.

Это было первое сентября. Он уехал. В военкомат ему следовало явиться двадцатого ноября на медкомиссию. Еще мы смутно надеялись на то, что призыв отменят из-за эпидемии ковида, но на это ничего не указывало.

Когда Миша уехал, наша квартира (убежище) оказалась просторной и стала пахнуть как-то по-другому. Я навел порядок, от чего жилище, кажется, помолодело.

Вечерами я пил чай, глядя в окно мансарды; гулял иногда. Тоскливое время. Оно заставляло меня смотреть на самого себя не моргая. Что-то подсказывало мне, что придется свыкнуться с этим состоянием, примириться с ним, как с конвойным в камере пожизненного заключения.

В успех идеи с выборами, именно в виду ее изящества, я не верил. Сложные задачи решаются просто, а не элегантно. Миша активировался лишь в малых группах, среди единомышленников. Оказываясь на миру, он пасовал, не чувствовал прочность собственного позвоночника.

Ничего не получится, но кто мешает надеяться? Миша бы это назвал «галимый идеализм».

Прошло две недели, и без предупреждения ранним утром (первый рейс) явился Миша. Он разбудил меня и ту девушку, которая спала в моей постели. Я способен, посидев, подумав, припомнить ее имя, но не хочу. Минувшим вечером я гостил в чужой для меня компании. Она там хозяйничала: подавала закуски и бросала в бокалы лед. На балконе, во время перекура, наши взгляды встретились, и ни о чем больше, как друг о друге, мы уже не могли думать. Как бы случайно она и я ушли раньше всех. Старый таксист привез нас ко мне в полночь. Луч луны опускался ровно на кровать и казался айсбергом. Мы отчаянно грели его до спасительного и освежающего рассвета.

Девушка вскочила и убежала в туалет. Миша подметил, что она похожа на доярку. Видимо, все дело в тяжелой белой груди, которая едва укрылась за моей рубашкой. Миша проводил ее взглядом, а потом отметил:

— Революционное утро!

Бедняга был пьян, и нехорошо пьян. Я не смог не заметить, что он в крутом пике вот уже несколько дней. Каждая новая доза — попытка сохранить ту тонкую грань, которая разделяет состояния: плохо и чудовищно.

— У нас только чай, — предупредил я. — Марш на кухню!

Вскоре все трое мы пили чай, закусывая его абрикосовым вареньем прямо из банки одной на всех алюминиевой ложкой.

Наша гостья с интересом рассматривала Мишины полотна. Некоторые фотографировала. Указав на уродца с картины «Дезертир», она радостно подметила:

— Как сильно на моего дядьку похож! Он повесился на вишне в том году. Ноги поджал и повесился. Он в Афгане служил. Воду пил только из бутылочек. А водку и пиво — ничего. Из стаканов.

— Грустно, — констатировал я. — Может, Миша нам что-то радостное расскажет?

Напрасно я понадеялся. Похлебывая чай, Миша признался, что его дерзкая попытка собрать подписи провалилась. Он ругал себя, но и как будто восхищался собственной (обнаруженной вдруг!) натурой.

В итоге он произнес монолог, из которого мне стало ясно, что единственной пользой от его поездки (полезно ли это?) стало укрепление его идеологических убеждений.

Вращая сигареткой, как крошечным факелом, он говорил:

— Я видел людей: одноклассников, соседей. Уставших женщин (маминых коллег) и униженных своим положением мужчин — отцов друзей и товарищей. Слушая меня, они испытывали все (такие разные, а одинаково) одно: страх; подозрение, догадку, что все это не к добру. А я между тем всего лишь только разговаривал с ними. Многие из них, наиболее трепетные, ощущали, кажется, личную ответственность за мою судьбу. Они пытались направить меня на верный (безопасный) путь. Спасали меня. «Зачем тебе оно? Посадят», — шептали они. Их усталые лица были скорбными, ненавистными, когда я обещал, что у них во власти, может быть впервые, появится товарищ. Они пытались меня слушать и понимать, но очень скоро их глаза тускнели. Некоммуникабельность... Перед ними стоял иностранец, а любой иностранец (их обучили этому, и только этому) — враг. А ведь многих из них я помню молодыми. Сильными и бесстрашными. Они тогда могли размахивать руками, выбирать себе красивые туфли, громко смеяться и на мое тихое детское приветствие через всю дорогу кричали: «Здорова!» Я говорил со своей первой девушкой. Она сделала меня мужчиной под колесом чужой машины на лугу. Шел мелкий дождь, и щебетало радио. Она весила тогда пятьдесят кило, любила узкие джинсы и под черную челку прятала глаза. Пахла цветочными духами, сигаретами и мятной жвачкой. Теперь передо мной стояла толстая тетка в короткой юбке. Она теребила край футболки и тупо смотрела на меня из-под белесых волос. Кажется, не узнавала. Хотя узнавала, конечно. «Материнские повысят?» — одно-единственное спросила она наконец. «Это не зависит от меня», — ответил я. Она кивнула (так и знала, мол) и ушла. Больше ничего на свете ее не интересовало. Только «материнские». Это бытие, которое задавало координаты ее тусклого, холодного сознания. Остальных интересовала лишь пенсия: «Обещают, обещают, а не поднимают. А ты вот поднимаешь? Говори!» — «Нет», — признавался я. Один старик водил меня за руку по поселку. Я знаю поселок до листочка на клене, до фантика, брошенного мимо урны, до... Я знаю народные клички дворняг, которые постарели с тех пор, как я вырос. Кто лапку потерял, а кто глаз. Как дедушки, они слоняются вокруг стихийных свалок и, когда тепло, валяются в пыли, выронив языки. Я видел людей, говорил с ними. С бывшими людьми, ставшими массовой. Утратившими всякое представление о завтрашнем дне. И все же эти люди лучше меня, добрее. Не выдержав, я принялся объяснять старику, что нужна революция. Великая, красная, последняя, молодая. Обновить все. Прицелиться в будущее, проклясть прошлое и не хвататься за настоящее. Наполнить время смыслом. Старик испугался. Революция не нужна! Нужно всего лишь, чтобы президент узнал о дырявом тротуаре, нетравленных клещах в лесу, малолетней шлюхе-соседке, которая мало того, что принимает в доме любого: от школьника до старика, так еще и ворует картошку с огорода. Зеленую. Ладно бы спелую. Я так разгорячился, споря с ним, что не заметил, как рассказываю о Бакунине, Нечаеве, Ленине, Розе Люксембург, молодом Дзержинском, еще о ком-то. Старик вроде бы слушал, но потом повторил: «Нет. Революция не нужна. Бумагу нужно президенту. А еще лучше, чтобы приехал и посмотрел». Подумав с некоторым даже удивлением, он добавил: «Гласность нужна». Так он гласность понимал, представляете? Один дядька, ровесник отца, тыча пальцем в осколки сахарного завода (поросшие кленом), говорил, что «во всем виноваты москвичи». Это они якобы скупили все заводы и обанкротили их. Как же всем им не нравятся цены в магазинах, дороги с еще советскими лужами, загаженный пруд, на котором я впервые в жизни увидел лед. Каким нелепым им кажется то, что сутками льется на них из телевизора (выключить нельзя — привычка), как устали они от необходимости поколениями экономить, считать

монеты; как при этом они боятся все это утратить! Это мой народ. Те люди, за которых я обязан умереть. Вернее, ради них. Прекрасный народ. Темный, но не злой. Классический. Вот.

Миша окончил свой рассказ и швырнул на стол измятый подписной лист. В нем жались друг к другу всего лишь пять подписей за кандидата. Одна из них принадлежала Мишиной Святой. Скорая, скромная, сутулая буква «С» и книзу хвостик.

Я скомкал этот лист и швырнул его в мусорное ведро. В эту самую секунду предвыборная Мишина кампания завершилась. Мы проиграли. Народ выбирает не нас.

Наша гостья слушала рассказ с огромным интересом, а потом посоветовала:

— А чего вы голову-то морочите? Заплатите, и все.

— Нечем, — возразил я. — И деньги непонятно куда нести. Не военкому же в кабинет: «Здрасьте, мы тут со взяткой, но вы, наверное, догадались, товарищ майор».

— Нет, конечно. Не военкому. Он не берет напрямую. Он в том году потерял (как бы) дело одного призывника, (за недорого, кстати), а тот девочку изнасиловал.

— И что? — спросил Миша.

— Ничего. Еле отмазался.

— Кто?

— Оба, — подумав, ответила она. — Вам нужно через председателя медицинской комиссии вопрос решать.

— А кто это?

— Да Рагин же. Доктор Рагин. Позвонить ему? Я могу.

В ответ на наши изумленные взгляды она объяснила, что работает медицинской сестрой и хорошо знает Рагина.

— Позвони, — попросил я.

Она ушла ненадолго в ванную, а потом вернулась с ясной информацией:

— Вам нужно успеть до конца октября. Как деньги соберете, позвоните мне. Я скажу куда и когда.

Сумма за пацифизм равнялась шести моим тогдашним зарплатам. Нам предоставили скидку. Поразительно! Скидку нам! Миша улыбался и, сидя на стуле, как-то даже пританцовывал. Он водил плечами, убирал волосы за уши, поглаживал бороду. Сладкое чувство дезертирства.

— Как тебя отблагодарить? — поинтересовался я.

— Оплатите такси, а? Мне к маме за город ехать.

Она уехала (эвакуировалась?), а мы впервые в жизни стали думать о том, как очень быстро и по возможности легально отыскать большую сумму денег.

Не могу припомнить, как ее звали. Вертятся какие-то имена, но ни в одном я не уверен. Миша назвал ее попросту «Ангел». Вскоре и я привык.

С этого дня мы перестали жить и начали зарабатывать. В военкомате Миша (что далось ему нелегко) выпросил перенос призыва на декабрь. Так можно при наличии определенных обстоятельств. Миша что-то соврал про ремонт крыши в доме матери. «У мамыши крыша протекает», — твердил он, притворяясь на всякий случай слегка слабоумным.

Таким образом, у нас оставалось два месяца на то, чтобы собрать деньги. Почти половину сразу же выдала Мишина Святая, свершив тем самым обыкновенное чудо. Откуда взяла — непонятно. Наши женщины всегда немножко откладывают — такая вот жизнь.

— Остальное зависит от меня, — констатировал Миша.

— От нас, — возразил я.

— Ты теперь не только мой друг. Ты больше. Ты мой товарищ, — едва сдерживая слезы, сказал тогда он.

И это было трогательно. За окном дрожал холодный вечер с розовым закатом, который отражался сразу во всем: в сухих листьях, окнах панельки напротив, в лицах прохожих, особенно в их глазах. Мы отправились в парк и там под деревом распилили одну на двоих бутылку дешевого, но немецкого вина. Город опустел, и бутылку мы протирали влажной салфеткой. Это бушевала эпидемия коронавируса, которая тогда казалась смертельной и великой. Длился карантин, но все работали. (У нас ведь не столица, строгости нет.) Вечерами сидели дома, береглись. Страшные были времена: несчастные люди душились бессмысленными масками и говорили, говорили, говорили об этом. Умирали люди. Часто страшно и мучительно. Это меняло нас. Но сами мы не очень-то ждали смерти. Пили вино под деревом и терли холодные носы. Этот вечер навсегда со мной. Стоит подумать — и я там. Настоящая победа над временем.

Где-то четвертую часть своей зарплаты я теперь откладывал в томик Маркса. Миша днем работал на старом месте, а ночью (ночь через ночь) сторожил недострой в соседнем дворе. По выходным мы ударно шабашили. Это невероятно, до удивления утомляло. После таких выходных ломило кости еще дня три и все жилы казались надорванными. Вскоре я стал бояться выходных, и до сих пор я радуюсь им с опаской. Постоянно клонило в сон. Паек наш состоял в основном из гречки и вареной курицы. Специи не использовали, чтобы не провоцировать аппетит. Алкоголь тем более. Пили зеленый чай. Радовали желудки карамельками. Естественно, мы мгновенно похудели. У меня приплюснулась задница, почти исчезла, как туман высыхает на солнце. Мне ее было жалко. Смотря на нее в зеркало, я думал: «Это же моя задница. Она всегда жила со мной, а теперь спина и дряхлые ноги голодного».

Как-то в понедельник во время овощного ужина (Святая нам возила с огорода картофель и перец) я спросил Мишу:

— Может, ты зря? Отслужил бы годик, и все. Не думаешь, что все это позорно?

— Нет, — был ответ. — Всю жизнь мы с мамой за все платили. От бинта до образования, от штрафа за курения, анализов в больнице, от сортирных услуг до проверки счетчика. Ни льгот, ни пособий, ни доброго слова. Только «плати, плати и плати». Ничего я государству не должен. Это оно мне хорошенько торчит! Ни сегодня, так завтра они (то, что сейчас называется государством) захотят повоевать. Враги же кругом. Окружают. Меня? Нет. Их окружают. (До меня никому нет дела. Сдохну — бесплатно в канаву не отнесут.). Враги... И все враги абстрактные — это очень удобно. Абстрактного врага нельзя победить. Но с ним можно воевать бесконечно. А на деле они (те, кто называются государством) элементарно поиздержались. Зубы слишком дорогие, тачки, шлюхи, новенькие розовые органы дорожущие нынче. Они обязательно будут воевать, а такие ребята, как мы с тобой, Юрочка, обязаны будем стать героями этой бойни. Без героев на войне никак. А герой — он чаще всего мертвый. Лежит — позирует скульптору, который памятник лепит. Неужели ты думаешь, что я боюсь казармы и примерзшего к рукам автомата? Нет, конечно. Нормально мне будет в казарме. Я просто не хочу. Мне обидно их слушаться. У государства бывают послушные детки, а бывают выродки. Вот я не хочу быть героем. Я — выродок, дезертир. Давай, Юрочка, спать. Мужик заедет за нами в шесть утра.

Утром (воскресный день) мы прибыли в пункт шабашки — на полузаброшенный витаминный завод. Задача была следующей: погрузить в газон чугунные плиты, утопленные в чернозем. Мужик этот, в серых джинсах, свитере и пиджаке, обещал щедрую плату. И мы догадывались почему. Эти плиты мы воровали. Вернее, он нашими руками воровал.

Нелегко было этим ядерным утром. Пожалуй, самая утомительная шабашка. Моросил дождь, и ветер жег. Кровоточили костяшки рук. Кеды утопали в грязи. Под ногтями скопились земля и ржавчина. И утро было серым, каким-то бесконечным. Без надежды на солнце.

Вернувшись домой вечером, мы едва-едва только начали скандалить из-за какого-то пустяка, но тут же прекратили. Силы иссякли. Не раздеваясь, мы уснули. Я почему-то на Мишином легендарном матрасе, а он сидя в кресле. Проснувшись ночью и взглянув на скрученную фигуру, спрятавшую лицо за волосами, я подумал на мгновение, что это смерть поджидает меня. Я испугался и не сразу расслышал храп.

Книг я не читал, стихи не сочинял. Миша даже не подходил к холсту, хотя пытался продавать старые работы в Интернете за мизерную стоимость. Куда бы мы ни шли, что бы мы ни делали — повсюду за нами плелась усталость. Вечерами иногда хотелось женской ласки, но непритязательной и какой-то вегетарианской. Чтобы погладила по щеке и дала выспаться. Или накормила.

Мы успели к декабрю. Собрали необходимую сумму. Часть денег пришлось одолжить, но это нас не пугало. Прекрасный наш Ангел, так и не пожелавший более меня раздевать, назначил Мише встречу с доктором Рагиным на первое декабря.

Все было готово, жизнь впервые не плевала нам в лицо, а как бы даже сотрудничала, слушалась и кивала. У нас почти все получилось, и победа была близка, но Миша заразился коронавирусом, и нас посадили на карантин. Это могло бы стать основанием для отсрочки, но к пятнадцатому декабря намечалось завершение карантина. При этом первого декабря Миша явиться к доктору еще не мог. Ведь чума же. Да и кашлял он, как нечищенное орудие. Квартира наша превратилась в лазарет: всюду сопливые салфетки, пластинки с таблетками, три одеяла на матрасе. И страх смерти, конечно.

К доктору Рагину со взяткой пришлось идти мне, что тоже являлось нарушением карантинных мер, но я-то хотя бы не болел.

Рано утром через слякотный город я поехал в больницу с Мишиной медицинской картой и худой пачкой денег, завернутой в пакет из пивного магазина. Этот сверток шелестел во внутреннем кармане моего пальто. Сумма меня волновала. Я простукивал ее сердцем, как бы беспрестанно пересчитывая. Всякий взгляд в маршрутке казался мне подозрительным. Человек с большими деньгами в кармане уже не совсем человек.

В больнице душно. Я вымок весь, поэтому, сидя в очереди, источал пар. В огромной одежде на исхудавшем теле, красный, нервный, я походил на больного. Более подходящей маскировки невозможно себе вообразить.

Наконец, шепча молитву, из кабинета доктора Рагина выползла старуха в свитере и пушистой шапке. Она задержалась в дверях. Это позволило мне рассмотреть стандартный медицинский кабинет: придвинутый к окну стол, ширма, которую никогда не беспокоят (чего стесняться?), икона. Справа медсестра с приподнятой лаком прической, справа через стол доктор Рагин.

«Так, так, — подумал я. — Не буду же я при медсестре».

Мой голодный мозг искал решение, а очередь (подлая!) невероятно ускорила. Идеи отсутствовали, поэтому пришлось мыслить не сознанием, а мышцами. Я встал, дернул ручку двери, вошел, вращая головой, осмотрелся. Стало спокойнее.

Доктор Рагин был огромным лысым мужиком с неподвижными голубыми глазами. Он покашливал, складывая трубочкой бело-розовый язык; его мокроватые губы тряслись.

— Что? — спросил он наконец.

В надежде на его сообразительность я протянул Мишину медицинскую карточку. Он не глядя передал ее медсестре, а меня попросил:

— Не тяни. На что жалуешься?

С ужасом я понял, что понятия не имею, какой он доктор. Что он лечит? Внешне, по крупным рукам и толстой шее, он смахивал на хирурга или санитаря из голливудских фильмов про психбольницу.

— Да колет чуть-чуть, — наконец-то изъяснился я.

— Ясно, — сказал Рагин. Меня это «ясно» неприятно удивило. — Приспускай, — добавил он.

Моя часть меня, та, которая умнее меня целого, догадывалась. Облизав взглядом стены, я увидел плакат с изображением мочеполовой системы, отдельно почки, прижатые камнями, и мужской пах, усыпанный красными пятнами. Этого я не ожидал, но отступить некуда. Обратившись спиной к медсестре, я приспустил штаны.

Согнувшись и прикрыв мою наготу облысевшей розовой головой, Рагин сказал:

— Конец как конец. Ну, давай анализы возьмем. Хотя это, вообще-то, к другому врачу.

Очень проворно он вынул откуда-то длинную спицу, намотал на нее прозрачную ленточку и одним махом со скрежетом вогнал ее в меня. Согнувшись, я заойкал, как бабушка, а Рагин лишь кашлянул, собрал два мазка и запечатал спицу в стеклянную колбу.

Очень быстро я натянул штаны и почувствовал облегчение. Боль, так внезапно заполнившая меня всего, отступила.

— Результат через пять дней, — сказал Рагин и отвернулся к окну, за которым длился черный больничный забор, а за ним догорал могучий клен — ручная божья работа.

Я выскользнул из кабинета и только теперь обнаружил, что все это время держал сверток с деньгами под мышкой. Целлофан пакета стал влажным от пота и хрустел теперь неуверенно.

— Ты чего тут?! Вы же на карантине. Ходишь, людей травишь, бесовестный!

Услышав это, я нехотя обернулся. Меня рассматривала злая доктор, которая приезжала лечить Мишу от коронавируса. Посещала нас два раза в неделю.

— Дома нужно сидеть, а не по урологам мотаться. Карантин сниму — потом будете причиндалы лечить.

— Почки простудил, — соврал я и убежал на улицу курить под тот самый клен. Под дождем я маневрировал между лужами и размышлял, как какой-нибудь метафизик. План не рождался.

Но он появился.

Я вернулся в больницу, нашел на стенде фамилию медсестры по номеру кабинета, раздобыл листок бумаги (анкета какая-то), написал на листке свой старый стишок (написанный без плана, а по наитию) и оставил его в регистратуре, сказав, что это очень срочно следует передать. Немедленно! Важно!

Стишок (отрывок) я помню:

Сидя на крыльце, допиваю чай,
Трещиной дом рассечен.
По-христиански прощай
И что-нибудь сделай еще.
Принеси мои синие джинсы.

Небесные звезды и звезды погон
Одинаково трепетно требуют нас.
Переполнен последний вагон,
И мужчина смущенно читает приказ.
Дай пилюль от желудка.

Через минуту медсестра проследовала к стойке регистратуры, а я ворвался в кабинет доктора Рагина. Он все смотрел в окно, оперившись подбородком на кулак. Как часовой на наблюдательном посту.

— Я же к вам не лечиться. Я по делу, — начал я, задыхаясь.

— Карточка останется у нас, — перебил он.

— По делу я. От призывника передачу принес. Карточка его. Почитайте.

Рагин отыскал на столе у медсестры карточку Миши и задумался. Я выжидал некоторое время, а потом бросился объяснять:

— Вам звонили. Вы на сегодня назначили. А я не знал, как зайти. А Михаил на карантине по ковиду. Вот! — Я протянул сверток.

— Что ты устроил? — спросил Рагин, а потом добавил, глядя на клен за окном: — Пошел отсюда! Никаких больше договоренностей. Все. С тобой нельзя иметь дел.

Я ушел, жалея о том, что за четверть жизни никто меня не научил коррупционным делам. «Коррупция, — подумал я, — она тоже не для всех. Многим и эта поблажка недоступна»

Рассказ об этом происшествии, которое только теперь кажется забавным, поверг Мишу в отчаяние. Лежа на матрасе с кульком конфет, едва сохраняя самообладание, он твердил:

— Конечно... Он денег ждал, а ты ему член показал. Сколько трудов погибло. Как нелепо все. Я хочу дезертировать не из армии, а из всей этой системы.

Пакет с никому теперь не нужными деньгами, так тяжело собранными, лежал под вешалкой, на ботинках. И он даже мешал нам, если мы хотели обуться и сходить в магазин. Миша все время ныл, а я листал ленту новостей в Интернете. Читал про ковид. Так шли выходные.

— Буду лежать с оторванными ногами где-нибудь под кустом, в какой-нибудь соседней стране. Мама моя Святая даже косточки мои в землю зарыть не сможет.

— Миша, прекрати! Придумаем что-нибудь.

— Идеи не бесконечны.

Ночью у Миши поднялась температура, которую на данном этапе выздоровления мы совсем не ждали. Я испугался, что он умрет, и в панике прямо ночью позвонил нашему Ангелу. Несмотря на ночной звонок, она рассмеялась, выслушав меня. Ее смех бодрил. Вообще, нет лучшего лекарства для мужчины, чем уверенный женский голос.

— С доктором я завтра поговорю. Не пишайте там в спирт. Мише дай парацетамол и следи, чтобы задыхаться не начал.

— Может, приедешь? — попросил я.

— Нет, — отказалась она, но после некоторой паузы.

Через неделю Миша сам отнес деньги. Рагин принял его в курилке за больницей. Все прошло гладко.

Теперь через десять дней Миша обязался явиться в военкомат на медицинскую комиссию и там получить заключение о непригодности к военной службе на основании какой-то болезни почек.

Оставалось раздать долги и растолстеть до привычного размера брюк. Все закончилось — так нам казалось.

Наша радость, как любая преждевременная радость, обманулась. Все наши усилия оказались напрасными, как любые чрезмерные усилия. Абсурд опять победил. Все случилось так, как мы и представить не могли. Мудрость — это принять абсурд и перестать ему удивляться. Мудрость — научиться радоваться ему.

Миша явился в военкомат, прошел медкомиссию, шагая голый от врача к врачу, а потом, оказавшись в кабинете уролога (председателя комиссии), и попросту остолбенел, потому что за столом сидел не Рагин, а молодая девушка с наклеенными ресницами. Ее щеки горели от обилия голых мужчин. Мишу она рассматривала особенно долго. Его татуировки: топорики на плечах, молоты и серпы, громадного козла на белой груди, Ленина на бедре. Проколотый левый сосок и длинные пальцы в пятнах разноцветной краски.

Рагин внезапно умер от осложнений ковида за два дня до. Нужные записи в карточку он внести не успел. Смерть сильнее коррупции.

Врач с ресницами признала Мишу пригодным к воинской службе. Ему надлежало явиться с вещами в военкомат для отправки к месту службы через три дня. Миша просил себе этот срок у призывной комиссии. Соврал, что нужно куда-то кота определить. Видимо, под котом подразумевался я.

Теперь Миша стал настоящим призывником, и путь к свободе лежал только через дезертирство.

Всю нашу историю я немедленно рассказал юристу Алексею.

— Теперь только альтернативная служба. Еще не поздно. В рамках правового поля иные решения отсутствуют. Разве что экстренно заплатить военкому.

— Нечем, — напомнил я. — Денег нет. И не будет.

— Может, проще тогда отслужить, и все?

Вот как ему объяснить? Я сказал как-то так:

— Миша со своей святой мамой прожил такую жизнь, что служить ему теперь очень обидно. Невыносимо обидно.

Алексей меня понял.

Сперва Миша в горячке угрожал, что сошлется на гомосексуальность, выпрашивая альтернативку.

— Скажу, что гей! Им это страшнее всего.

Тут уже за свою репутацию испугался я и, к счастью, сумел Мишу отговорить от радикальных заявлений. Я даже использовал запрещенный прием:

— Биографии революционера может повредить такая репутация. Представь, что Ленин с Че Геварой — геи. Ну что это такое?

— А что, собственно?

— А им бы никто не поверил. Все бы считали, что в революцию они пошли ради борьбы за свои узкоспециальные права.

— У революционера нет половой ориентации, пола и родины, — сказал Миша. — Только народный стон.

Я рассмеялся, и Миша, помнится, тоже.

— Действительно, как я после революции буду подругу жизни искать с такой биографией. Все-таки религиозным фанатиком быть проще. Может, сказать, что я буддист?

— Не пугай их, — попросил я.

Что ж, и эта наша затея чуть не провалилась. Оказалось, что заявление на альтернативку положено подавать заранее. Но несмотря на это, военком (седой мужчина в рубашке с короткими рукавами, видимо никогда не видевший реальной армии) сжалился над Мишей и принял заявление задним числом. Добрый человек все-таки.

Глядя на предплечье Миши, на его свеженабитую татуировку размером с пятак, военком предположил:

— Сталин?

— Святая Наталья, — ответил Миша и погладил материнский профиль пальцами. — Собственный эскиз. Два дня работы.

Теперь вот уже второй год Миша служит в психушке на улице Академика Павлова. Скоро дембель. Он уходит рано утром и находится там до шести. Иногда его отпускают раньше. Ему платят небольшую зарплату, но этого не хватает. Его, как всегда, выручает его Святая.

Наша дружба за эти два года как-то прохудилась. Вечера он проводит в новой компании. Миша знакомил меня с этими ребятами, но мы не сошлись. Какие-то плохо одетые панки, в основном музыканты. Песни их примитивные, и все очень плохо со стихами.

Алкоголь Миша теперь не употребляет, курить бросил. Читает какие-то странные, очень потрепанные книги. Совсем не говорит о политике, по крайней мере со мной.

Я работаю опять *никем*, но теперь в большой приличной фирме. Неплохо зарабатываю. Один из новых Мишиных друзей (его сослуживец) сказал как-то, что, пробыв в психушке месяц, он увидел всю страну в миниатюре и она оказалась больной, но прекрасной.

Я спрашивал Мишу:

— Не жалеешь?

— Нет, — ответил он. — Может быть, долг настоящего революционера как раз и состоит в том, чтобы выносить дерьмо за психами и подтирать им слюни.

В этом году, в феврале мы проснулись раньше обычного. Гудело железо, дрожали стены квартиры, свистело за окном. Что-то тяжелое и невнимательное к проблемам человека, копошащегося там, внизу, на земле, летело сквозь облака и весело посапывало пламенем. Наш приграничный город плакал свинцовыми слезами. Дымились посадки, ныли сирены, птицы не пели. Визжали дети за стенами.

Я, какой-то уменьшившийся, стоял у окна и вертел головой. Не узнавал город.

Потягиваясь и зевая, пробуждалось утро.

Миша отвернул одеяло, сел на матрасе, собрал в пучок волосы и сказал спокойно:

— Ну вот.

СВИТЕР

Мой сосед по квартире Мишка блаженно спал (чарующий храп) на матрасе, а я чистил яичко и смотрел в окно, на мужика, поглощающего пиво у подъезда дома напротив. Через час экзамен по истории политических и правовых учений. Я слегка волновался. Зато экзамен последний, а дальше лето и то, что называется работа. Впрочем, ее еще нужно найти.

Зазвонил мой телефон, поэтому Миша зашевелился. Я мгновенно ответил на звонок с неизвестного номера, чего лучше, конечно, не делать.

— Юра, здравствуйте. Это Игорь. Сын Александра Сергеевича. Деда Сашки.

С чего на «вы»? В детстве мы с Игорем дружили, несмотря на то, что он старше меня лет на пять. Даже вместе с ним и дедом Сашкой (ему он папа) ездили на ночную рыбалку. В непобедимом зеленом уазике пахло бензином, пылью и подгнившими яблоками (закуска на случай). Я поймал двух карасей, с десятков линьков и гигантскую плотву, а они по ведру нахватили. Игорь, помню, все равно остался недоволен рыбалкой. То комары его грызли, то спать душно, то телефон не принимал сигнал. Он тогда уже учился в институте и приезжал к отцу из города, куда увезла его мать еще школьником.

— Привет, Игорь. Что там крест у деда Сашки? Не упал?

— Какой крест? А! Крест... Да, стоит себе. Только покосился после зимы.

— Земля просела. Нужно его вынуть и установить памятник, а саму гробничку хорошо бы забетонировать, чтобы сорняки не росли.

— Да, — согласился Игорь. — Только сейчас слегка некогда. Я вот недавно ездил в Платоновку, — поселок нашего детства, — и кое-какие вещи забрал из дома.

«Сыновье мародерство», — подумал я, а вслух сказал:

— Так-так.

— Вы когда с похоронами помогали, — помогал? Я их организовывал! — вы там, случайно, в доме нигде не встречали такой серый свитер под горло?

Вот оно что! Свитер!

— Нет, — соврал я. — Не видел. Разобрать гардероб времени не хватило.

— Понимаю, понимаю, — затараторил Игорь. — Я звоню, чтобы поблагодарить. Спасибо вам! Большое человеческое! Выручили!

Неужели он год не приезжал на отцовскую могилу? Хотя бы любопытство у него имеется? Ехать-то полтора часа.

Игорь усердно благодарил, спотыкаясь на словах, а я жевал яйцо, боясь опоздать на экзамен. Мишка тем временем проснулся и уставился на меня со своего матраса, как некая совесть.

— Так не видели свитер? Может, кто-то взял?

— Нет, Игорь. Помочь не смогу. Не видел.

Мы попрощались.

— Что такое? — спросил Мишка. — Менты?

— Нет. Вечером расскажу. Опаздываю. Бывай!

Экзамен я сдал на пятерку, чем очень горжусь. Вечером мы отмечали это событие домашним вином, которое заедали булочками с сыром. Город заливал крупный и резвый дождь. Пузыри, растворявшие разметку, катились по тротуарам. В эту светло-серую красоту мы пускали сигаретный дым, сидя за столом у окна. Мы постоянно раскрывали окна.

Я рассказывал, а Мишка, тихо-тихо отрабатывал упражнение на гитаре. Дорогого стоит, когда ради твоего рассказа музыкант играет беззвучно.

Год назад в Платоновке я хоронил деда Сашку — про это история. Мишка, дослушав, ее объявил:

— Это же рассказ! Придумывать ничего не нужно. Просто запиши, и готово.

Мишка чуткий. Я всегда его слушаюсь.

Год назад (стоял сухой август) здесь, в городе, где мы жили тогда с матерью, я почему-то заскучал. Мы сюда сбежали от отца, оставив его на службе у роке-н-ролла в родной Платоновке. Батя тяжело переживал расставание. Звал меня в гости, практически требовал. Надеялся, видимо, оправдаться, вернуть утраченные очки. У него большое чувствительное сердце. Стучит прямо за кожей. У меня такое же, только в пуху.

Уложив небольшую сумку, я поехал. Такси, потом час на автовокзале, потом автобус, в котором некуда деть коленки, и вот — родная одноэтажная Платоновка. У останков доска объявлений, и на ней дрожат свежие листики. Живая доска объявлений! «Продаю ЖОМ» и так далее.

Батю я застал в пограничном состоянии. У него гостевал друг детства Толик (скоро пятьдесят, а он Толик). Они одновременно слушали «Kiss» и пытались по очереди играть на гитаре «Led Zeppelin». У отца получалось ровнее.

Он сильно постарел: борода совсем поседела, сам он как бы высох и привык гнуть-ся при ходьбе, бурые руки за спиной.

Моему приезду он обрадовался. Угостил жареной картошкой с солеными огурцами и напоил чаем. Толик сразу деликатно откланялся, хотя они еще долго и весело обсуждали что-то, размахивая сигаретами у калитки. Помешал я мужикам отлично вечер провести.

Пару дней я провел со старыми друзьями. Мы пили пиво на стадионе, вспоминали былые и, вообще, притворялись прежними. Бесполезно, кстати говоря.

Пейзаж поселка волновал меня. Что-то шевелилось во мне и требовало ответов. Я гулял по знакомым дорожкам и будто видел себя впервые со стороны. Вон я иду вдоль железной дороги, повесив голову и размахивая руками. Потеею.

Вечерами я пытался писать стихи, но утопал в ненужных деталях, крал чужие заготовки. Так не годилось. Поэтический голос отчего-то охрип. От пива и свежего воздуха, видимо.

И вот время замедлилось. Наступила тоска. Отец героически ограничивал алкогольную дозу. Рылся в огороде или мастерил (мечта!) летний душ. Я помогал, но душ — сооружение простое. Да и командой мы быть разучились. Чаще я просто сидел рядом и импровизировал на гитаре. Я совершенно бесталаный музыкант.

Через четыре дома, у самого края улицы Лесной жил дед Сашка — Игорев отец. Молодым я его не помню — вечный старик. Но суровый, прямой, сильный, едкий.

Его молодая жена (мама Игоря) отличалась, говорят, какой-то невероятной красотой. Я не застал, к сожалению.

Еще говорят, что дед Сашка хорошо зарабатывал на местном спецхозе и, как это называется, «тащил в дом». Не считаю это воровством. Воровство — когда сильный забирает у слабого последнее (или предпоследнее?), а государство в восьмидесятые годы не ослабело. Да и тащил он какие-нибудь мастерки, эмалированные ведра, ящик гвоздей, какое-нибудь, может, нелепое корыто. Вот и вся его приватизация. С этим и доживает.

Деда Сашку я помню надежным и конкретным. Человек-гвоздодер. Одинокая старость его ничем не обременяла. Он ходил в магазин, варил себе супы, разделявал куриц. Иногда, нарядившись, отправлялся в центр и покупал там туфли, брюки, рубашку, кепку. Все плотное, надежное, невыносимо жаркое для лета. Автономный человек.

Меня он узнал, поприветствовал, обсмеял мою прическу и предложил вишневого компота.

Я отказался, но он стал уговаривать:

— Сам закрывал. Кисленький!

— Нет, не хочу. Я воды дома напился.

— У твоего бати вода ржавая. Сейчас принесу.

— Обойдусь, — принялся настаивать я, но упрямый старик уже ушел в своей невысокий домик, выкрашенный синей и белой красками.

— На, — сказал он, протягивая стакан с розовым компотом из шпанки. С гранчака капало на пыльную дорогу. Очевидно, дед Сашка зачерпнул компот прямо из кастрюли, которую невозможно перевернуть. То есть кастрюля богатерская, мужская. Раз сварил, и на неделю. Без суеты чтобы.

— Вот зачем вы?!

— Да пей! — гаркнул он.

Я немедленно выпил.

Компот оказался вкусным, и захотелось еще, но просить я, естественно, не стал. Липкую руку потер, и только.

— А винца? — предложил старик.

— Да ведь обед же, — возразил я, но старик мое возражение понял ровно наоборот. Он оскалился и поковылял в дом. Только теперь я заметил, что он слегка волочит одну ногу.

— Яблочное, — презентовал дед Сашка, протягивая стакан с мутно-оранжевым напитком. — Того года еще. Пей! Пей скорее, пока холодненькое! Смотри, только по ногам бьет. Садись на скамейку.

Я осушил стакан залпом. Поставив его на скамейку, я будто дал хук этому проклятому зною. Июль в наших широтах с недавних пор стал каким-то адским.

— Пил я недавно дорогуший сидр. Натуральный якобы. Так вот ваше винцо гораздо круче. Нужно патентовать и продавать.

Дед Сашка махнул рукой:

— Сидр легче. Им только похмеляться, а у меня вино настоящее. Ноги отказывают! Вот сейчас я тебе... — Старик круто завернул рукава клетчатой байковой рубашки и опять ушел. Я протянул ноги и расплылся по деревянной скамейке, как бы перестал воспринимать жару и даже в знак этого показал заходящему солнцу ленивый фак.

— Тяни! — скомандовал старик.

Я отпил половину, кивнул, икнул и спросил:

— А вы чего? Устав не позволяет?

Глянув на солнце, дед Сашка прищурился.

— Да, заболел я! — Он ответил так, будто сплюнул под ноги.

Пошла пауза. Я рассматривал старика. Он ковырнул желтым ногтем засохший порез на потной шее, глянул на палец и добавил:

— Сказала врачиха: «Месяц-два тебе, дед, и финиш».

— Да брось, дядь Саш, — начал я, но он, как муху, отогнал мои сантименты, плеснул в стакан вина из пол-литровой банки (откуда она взялась?) и медленно, длинно выговорил проклятое слово:

— Он-ко-ло-ги-я, — и еще раз, но быстрее: — Онколо-гия. Три дня лежал, не вставал. Потом в район. Там по кабинетам. Потом говорят: «Не волнуйтесь, дедушка, но вот такие дела». Живого ничего нет. Да... И вот, — продолжал он. — Готовлю похороны. Гроб, костюм — это есть. Самогона выгнал. А ямы нет. Выкопай, — попросил он вдруг.

Его глаза, когда-то голубые, теперь выцвели и поседели, как виски.

— А копачи зачем? — нашелся я. — Сейчас просто: агентству платишь, и готово. Яму роют, выносят, опускают, засыпают — красота. Работники трезвые. Вам место только подобрать нужно.

Видимо, я опьянел, раз говорил такое. Дед Сашка терпеливо слушал, глядя на закат.

Его огород как раз плавно переходил в поселковое кладбище. Он знал там наизусть каждый памятник и даже ухаживал за могилками товарищей, когда заканчивал с огородом. Утром прополол картошку, а вечером две-три могилки.

— Видел я их работу. — Дед Сашка замотал головой. — Они по моему заказу не выкапывают. Там Митька руководит Калюжин. — Дмитрий Лужин, моей мамы одноклассник. — Барахло, а не начальник. Люди в бригаде бестолковые. По заказу не сделают.

— А что за заказ такой?

— Поглубже мне требуется. Глубокую яму. До воды почти. У нас до воды — копать не докопать.

— Зачем? — изумился я и попытался встать, но ноги не послушались. Смутившись, я поерзал и уперся руками в колени (поиск позы). Дед Сашка убрал в сухую траву недопитую банку и больше не предлагал.

— Надо мне! Какая тебе разница? Поглубже надо. Гроб спускать будут не на полотенцах, а канатиками. Я приготовил. Что нужно — есть: гроб, костюм. А ямы нет. Сделай. Десять тысяч заплачу.

Я категорически отказался и ушел, спотыкаясь. Поблагодарил, конечно, за вино, перевел тему и, когда ощутил силу, ретировался.

В этот вечер мне вспоминалось детство. Еще вчера оно находилось в полном моем распоряжении, а теперь отправляло приветы только в таком вот состоянии. Пахло травой и абрикосами. Наконец-то стало прохладно. До темноты я сидел на лестнице во дворе и слушал сверчков. Гадал, зачем старику яма. Отец в ночную сторожил гаражи на соседней улице. Я рано лег спать в тот вечер.

С тех пор дед Сашка стал меня подкарауливать со своей просьбой. И чем дальше, тем настойчивее.

— Бездельничаешь? Гоняешь воздух вонючий по поселку? Ну-ну. Заработать не хочешь. Деньги не нужны. Хорошие деньги. Работы на день-два. Делов-то.

— А Игорь что?

— Работа. Работает, а денег нет. Копни ты ямку. Вон спина у тебя, как у слона.

Где-то через пять дней дед Сашка слег и теперь я не мог ему отказать. Слабыми пальцами он держал мою руку и требовал свое.

Сдаваться все же я просто не стал:

— Вырою, если скажешь, зачем там глубоко!

Дня через два он признался, что в детстве, после войны как раз, они (пацаны местные) нашли череп в просевшей от времени неглубокой могиле. Никакого трепета перед смертью поколение тех детей не испытывало. Кто-то засунул в челюсть окурок, кто-то помидоры в глазницы. Пацаны долго веселились. А потом один парень пнул череп, как мяч, за ограду кладбища. Себе старик и через триста лет не желал такой участи. Хотел лежать глубоко. Глубже всех в поселке. Видимо, это гордыня или что-то вроде этого.

Ухаживать за дедом Сашкой стала женщина из соцзащиты. Приходила три раза в день. Иногда ему становилось совсем плохо, а иногда ничего. Казалось, его мощный организм переварит болячку и будет он хилый, но живой.

День на третий после того, как дед Сашка слег, на границе между огородом и кладбищем я начал размечать могилку. Старик больше не мог ходить в туалет самостоятельно, и это окончательно убедило меня.

Стояла сухая погода, поэтому работалось легко. Сначала, где-то на два штыка, мешала щебенка, а потом пошел в меру влажный чернозем.

Десять тысяч я планировал потратить на классический костюм к выпускному. Его потом можно и на работу носить.

В первый день мне не удалось сильно продвинуться в своей работе, потому что отец пригласил Толика. Пришлось приглядывать за ними, а заодно кулинарить и вяло спорить о политике. Вернее, не спорить, а поддакивать.

На второй день отец лежал под одеялом, тряся и смотрел телевизор, а я работал сосредоточенно и быстро. Уже после первого перекура ко мне подошел Борисович — глава нашего сельского поселения. Пыльные туфли, брюки слишком уж укороченные и до того синтетическая футболка (до треска), что казалось — один взмах руки, и от случайной искры мы оба вспыхнем. (Где эта синтетика продается?) А еще Борисович сделался сед. Я помню его молодым шатеном. Он нас с его сыном (мой одноклассник) кормил хлебом с маслом и травил байки про армию. Еще как-то вечером он подвозил меня на мотоцикле домой. Я шел из соседнего села со своего первого свидания. «Садись, подвезу, а то обочины не видно — собьют». С фонарями у нас исторически напряженка.

Как прежде, Борисович источал энергию и потрескивал от напряжения, как его футболка. Озабоченный сразу несколькими делами, он суетно зашагал вокруг ямы. Первым делом он осмотрел меня, а потом стал выяснять, что я тут рою, зачем, как давно и когда намерен закончить. Мои попытки отшутиться провалились.

— Дело серьезное, — настаивал он. — Сейчас время такое, что возможны провокации. Бдительность лишней не бывает. Ты не смейся, рассказывай давай.

Я выбрался из ямы и, как мог, объяснился. Борисович не поверил, но ушел. Часа через два вернулся и спросил:

— Конкретные размеры колодца согласованы с собственником?

— С кем?

— С Александром Сергеевичем.

— Дедом Сашкой? Ну да, примерно, — зачем-то я добавил на его, Борисовича, языке: — Метраж утвержден. Все штатно.

Глава ушел, а к вечеру, когда я уже заканчивал (таскал канатом ведра с землей), он явился с участковым и сказал, что могила должна иметь стандартные размеры, а то непорядок.

— Ты, может, до ядра дороешь, и что я тогда в ответ на областной запрос отпишу? Да, товарищ младший лейтенант?

Худой, бледный, тихий участковый лишь кивнул. Мы играли с ним в лапту в школьные годы.

— Сереж, — не отставал от него Борисович. — Каким образом мы, в случае чего, будем доказывать, что у нас тут могила, а не, допустим, окоп?

Участковый понял, что отмолчаться не выйдет и произнес:

— Следует привести проект места захоронения в соответствие со стандартами.

— А где они — стандарты? — спросил я. — В каком акте закреплены?

— Давайте поручение от собственника возьмем на случай чего, — предложил он после минутного раздумья. — Если будет запрос из района или области — покажем. Вы договор с собственником не заключали?

— С дедом Сашкой? Договор? Вы его видели? Он в сознание приходит раз в два часа.

Я источал пот, мокрая резинка шорт терла бока, хотелось в туалет и воды, побольше чистой холодной воды! Очистив лопату о половинку кирпича, я позвал их:

— Идемте к собственнику.

Дед Сашка порос щетиной. День-два, и она станет бородой. Глаза потемнели, губы высохли. Пахло спиртом, ватой, травяным настоем, резиной перчаток, невымытым телом — болезнью, в общем.

Борисович говорил от волнения сложно, но дед Сашка все понял и ответил:

— Пусть копает, — и добавил: — Быстрее, — а потом еще: — Поглубже. До воды. Только не топите.

Борисович пожелал выздоровления и пообещал выделить работника (тетю Машу) для уборки помещения, что было очень кстати. Участковый сфотографировал телевизор, шкаф и микроволновку на случай кражи. Я съел пирожок с повидлом, запил все молоком и пошел дорабатывать.

— Он же не увидит. Вырой обычную могилу, — предложил Борисович.

— Обещал ведь, — возразил я. — Стыдно потом будет. Да и, может, поправится еще. Выйдет, посмотрит, и что я ему скажу?

— Не поправится.

К сумеркам я закончил. Вынул лестницу, огородил яму цветным поясом от халата, прикрыл брезентом и поставил предупреждающее гнилое ведро. Зашел к деду Сашке. Он не спал. Смотрел в синее вечернее окно.

— Почти готово, — доложил я. — Земля уже влажная, но воды нет. Глубоко получилось. Завтра вычерпаю землю, которая обвалится за ночь, стены подровняю, накрою капитально чем-нибудь. Шифером, например. И финиш. Надеюсь, конечно, не пригодится. Будешь под помой использовать.

Старки благодарно прикрыл глаза.

— Держись, дед, — сказал я на прощание.

Работница соцзащиты уходила со мной, обещая вернуться в полночь, чтобы дать обезболивающее. Она шепнула мне:

— Сыну сообщили, что умирает. Обещал приехать.

Сразу домой я не пошел. У меня имелось задание: сбежать отцу за пивом. Он заблаговременно выдал сто рублей. Я пришел в наш местный магазин «Ольга» и вдруг обнаружил, что карманы мои пусты. Злой, с проклятиями, я вернулся к яме и стал искать купюру, полагая, что выронил ее где-то там. Мое ограждение — пояс от халата — уже оборвали какие-то хулиганы, а ведро отфутболили в кусты.

Не понимаю, как это произошло. Свесившись над ямой, я светил в нее телефоном, просматривая сантиметр за сантиметром, а потом поскользнулся и упал вниз головой. Сперва мне показалось, что позвоночник мой сломан. Робко пошевелившись, я выяснил, что цел и даже не сильно ушибся. Я взглянул на телефон — он не принимал сигнал, что неудивительно. Сигнал в поселке всегда обещал желать лучшего (разговоры с чердака или холма за домом).

Хорошая получилась могила, метра три в глубину. Я попытался выбраться, упираясь в стенки могилы руками и ногами, но земля обсыпалась. Сначала упал пару раз, расцарапав запястья, а потом устал и присел отдохнуть.

Кричать стеснялся. Ночной крик с кладбища — это страшно, а когда найдут — будет еще и смешно. Вообще, в подобных ситуациях (называю их «ловушка») я ощущаю невероятное спокойствие. Быстро млею и даже получаю удовольствие. Вот и теперь я наслаждался прохладой. Усевшись поудобнее, я о чем-то задумался и просидел так минут пять. Потом, однако, меня посетила неприятная мысль: «Самое близкое к смерти место». Даже так: «Я близко к смерти». И наконец, самая страшная догадка: «Как и все, я когда-то умру». Мысль о моей личной, родной смерти вдруг сработала удушающим образом. Так жалко мне себя стало! А потом следом и всех, кто меня любят. Жил, жил и умру! Весь я умру, до последнего ноготочка. Как-то раньше удавалось уворачиваться от этой мысли, а теперь она ласкала мои щеки теплыми, солеными поцелуями.

— Не сломался? — услышал я сверху. Наш поселковый, платоновский бог заговорил со мной. Звали его «Борисович».

Он спустил мне лестницу, и когда я выбрался, сообщил, что дед Сашка умер.

— Я сказал, что ты с ямой закончил. А потом решил проверить.

— Свободна могилка, — стряхивая землю с брюк, сказал я.

Всю ночь мы с Борисовичем не спали: созывали старух, звонили в ритуальное агентство «Ангел», выносили во двор лавки для собирающихся скорбеть соседей, ездили в магазин на «ниве» за водой и хлебом. Участковый составил акт и договорился с врачом, чтобы тот не забирал тело в морг.

— Чего мучить — возить по жаре? — повторял он, прикрыв фуражкой телефон.

Среди вещей усопшего мы обнаружили список, в котором значились сумма, а напротив статьи расходов: столько-то на поминки, столько-то на отпевание, а десять тысяч рублей — мне. Борисович мне вручил наследство при участковом, который потом заставил написать соответствующую расписку.

Утром, часов за пять до выноса тела, когда уже был заказан поминальный обед в кафе и привезены пирожки с рисом и мясом, мы обнаружили, что не куплен крест, который устанавливается на свежую могилу. Гроб есть, как и говорил дед Сашка, костюм есть, канаты, а креста нет.

— И деньги, как назло, уже потратили. Что же это он? — задумался Борисович. — Может, украли?

Денег мы потратили даже больше: скинулись соседи понемножку, и Борисович из муниципальной кассы выделил несколько тысяч. Дед Сашка бы не допустил такого, в его представлении, позора. Но в воровство я не верил. Что это за преступление: кража креста в день похорон?

Почти сразу я догадался, что старик так поступил специально: хотел себе холмик, и только. Чтобы он со временем сровнялся с землей и исчез. Чтобы не разрыли.

— Нельзя так, — настаивал Борисович. — По людям нужно пройти и подсобрать. Давай пробежим? Сам не пойду, а то подумают еще нехорошее.

Помявшись, подумав, помолчав, я предложил:

— На мои купим. На заработок.

Борисович понял и, как мог, меня утешил:

— С Игоря потом стрясешь. Он, может, на подлете уже.

В ритуальной лавке мы купили деду Сашке огромный деревянный крест. Один из лучших.

Просторную, самую глубокую в карьере копачей могилу быстро и резко засыпать не удалось. Они тихонько ругали деда Сашку за нестандарт. Некоторые мужики схватили лопаты из катафалка и стали помогать. Суетился и мой отец, нарядившийся в джинсы и туфли. Он подстриг бороду.

После похорон мы поехали запирать дом покойного. Я теперь сделался вечным свидетелем. «Муниципальная комиссия», как нас называл Борисович.

Воровать в доме было нечего, но мы все равно проверили окна и качество замков. На сарае и погребке замки сменили на новые, предусмотрительно приобретенные Борисовичем утром.

В какой-то момент я остался в опустевшем, проводившем хозяина доме один. А именно в комнате с приоткрытым шкафом. На его верхней полке, свернутый валиком, лежал серый шерстяной свитер под горло. Я хорошо помнил его со времен ночной рыбалки, на которую нас с Игорем брал дед Сашка.

Быстренько я примерил свитер — как раз. Он казался новым, хотя и пах стариковским шкафом. Меня не смутило. Крупная вязка, рельефные швы на плечах, плотная резинка на талии — хемингуэвский стиль.

Видимо, дед Сашка тщательно берег эту вещь. Носил по случаю. Я припомнил, что на самой рыбалке на нем болтались драный пиджак и тельняшка, а в свитер он переоделся, когда привез нас домой. Он тогда сразу уехал куда-то. Запомнилось.

«Вот и в расчете!» — подумал я, повязал свитер на талию и быстренько побежал к себе, потяя, как роженица.

Борисовичу я ничего рассказывать не стал, чтобы он не терзал расписками.

Отец дня через три прекратил свое пьянство, и мы провели хорошую неделю: заливали дорожку бетоном к душе, жарили вечером шашлыки, смотрели старое кино по телевизору под чай.

Потом я уехал.

В свитере я пару раз ходил на свидание зимой и однажды на работу. Он отлично смотрится на мне.

Надеюсь, мой подарок деду Сашке тоже в самый раз. Пусть лежит спокойно и не мерзнет. Место обогретое.